

Здесь и сейчас

**ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ
В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ¹**

Э.А. Паин

*Национальный исследовательский университет —
Высшая школа экономики,*

С.Ю. Федюнин

Национальный институт восточных языков и цивилизаций

Аннотация: В данной статье доказывается, что в современном мире гражданская нация является одной из важнейших предпосылок как становления демократических режимов, так и их эффективного функционирования. Для доказательства этого утверждения мы изучаем два типа отклонения организации общества от принципов гражданской нации — в России и в странах Запада, а также связанные с этим дисфункции. В начале мы кратко анализируем гибридный тип национально-государственного устройства в России, сохраняющего черты «имперского синдрома» и имитирующего национальное единство. Далее, на основе анализа опыта стран Евросоюза и США, мы показываем, что кризис, переживаемый ныне западной либеральной демократией, в значительной степени порождён ослаблением национального единства и утверждением в среде элит представлений о наступлении «постнациональной» эпохи. В заключении мы делаем ряд выводов об общих закономерностях взаимосвязи между национальной идентичностью, демократией и гражданским участием.

Ключевые слова: гражданская нация, демократия, национальное согласие, национальная идентичность, популизм, космополитизм, Россия, Запад.

В чем состоит социально-политическая сущность нации? Не закончилась ли эпоха национальных государств и не наступило ли время «постнационального мира»? Эти вопросы не новы, ещё в конце XIX века их затрагивал Эрнест Ренан в своей знаменитой лекции «Что такое нация?» (1882). В наши дни они приобретают особое звучание.

Сегодня при, казалось бы, противоположных векторах развития в России и странах Запада, в условиях нарастающей конфронтации между ними (многие эксперты говорят даже о втором пришествии «холодной войны»), проявляются сходные процессы в интеллектуальной сфере. В начале XXI века в западных и российских просвещённых кругах господствует

¹ Статья подготовлена в рамках научной работы по гранту Российского Научного фонда № 15-18-00064.

критическое отношение к идее нации. И в России, и в Европе многие интеллектуалы считают нации устаревшими институтами, а национализм и вовсе используется лишь в качестве бранного слова. Вместе с тем, причины недоверия или фактического отказа от национальной формы самоорганизации в двух случаях различны.

Россия, где политическая нация не сложилась, все в большей мере «впадает в историческое детство». Российская элита мысленно погружается то ли в эпоху классических империй и «политики канонеров», то ли в эпоху сталинской империи с ее агрессивным подавлением инакомыслия, тогда как население самоустраняется от гражданской активности и уклоняется от взаимодействия с государством. В это же время Европа все чаще опьяняется «грёзами постмодернистского будущего» — без наций, без границ, без социального контроля. Начиная с 1970-х годов идея нации здесь подвергается интеллектуальной, социально-политической и моральной критике, которая до последнего времени носила резкий и порой радикальный характер. Но в результате, в начале нового тысячелетия в европейских странах стало очевидным наличие глубокого непонимания между космополитическими элитами и населением, опасющимся за утрату собственной идентичности и привычного образа жизни. В ответ на это подняла голову национал-популистская реакция, получившая небывалую социальную поддержку.

Разумеется, «донациональная» Россия значительно отличается от кажущихся «постнациональными» стран Западной Европы, которые и сами немало различаются между собой. А потому и наблюдаемые в двух контекстах процессы имеют разную степень масштабности, опасности и корректируемости. Все это заставляет вновь задуматься о связи демократии и национальной организации общества в современном мире. Мы полагаем, что *гражданская нация является одной из важнейших предпосылок как становления либерально-демократических режимов, так и их эффективного функционирования в современную эпоху*. Мы постараемся доказать это утверждение на основе изучения двух типов отклонения от этой нормы (в России и в странах Запада) и выявления связанных с этим дисфункций.

Россия: имперский синдром — альтернатива гражданской нации

В современной России отсутствует общественный консенсус по поводу понятия «нация». В бытовом языке и политическом дискурсе господствуют традиционные представления о нации, отождествляющие это понятие с этничностью и даже расой. Такое представление фактически поддерживается идеологами разных направлений, и не только теми, кто открыто себя позиционирует как националисты. С другой стороны, государственные власти пытаются заигрывать с этими настроениями и навязывают официальную концепцию «патриотизма» [Laguette 2009]. Нет определённости относительного понятия «нация» и в научном сообществе.

Российские эксперты высказывают две крайние позиции по вопросу о том, существует ли гражданская нация в России. Одна состоит в том, что российская гражданская нация уже есть. Это официальная позиция российской власти, а главный защитник данной концепции академик Валерий Тишков утверждает, что эта нация существовала и раньше, как в Российской империи, так и в СССР, просто под другими названиями [Тишков 2007]. Другая позиция заключается в том, что в России нации нет и у нее другой тип государственного устройства — она всегда была и остаётся империей.

«Уже не империя». Россию называют империей идеологи типа А. Дугина или А. Проханова, вкладывающие в это определение позитивный смысл. Признаки, которые они приписывают империи (государственное величие, религиозное мессианство, традиционализм, противостояние Западу и либеральным ценностям, защита меньшинств в империях и проч.), яв-

ляются для них предметом для гордости за свою страну [Дугин 2012; Проханов 2013]. Понятно, что такого рода концепции имперского эссенциализма, в глазах их авторов и адептов, не нуждаются в каких-либо доказательствах.

Между тем, с момента принятия Конституции 1993 года можно говорить о появлении в России первых формально-юридических признаков государства-нации. Конституционная модель России признает принцип народного суверенитета («Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», ст. 3, п. 1 Конституции) и правового государства (универсальное юридическое равенство российских граждан на всей территории, ст. 5, п. 2). Эта конституция, в отличие от всех предыдущих, не только предполагает равенство прав граждан России, но и содержит процедуры избрания властей федерации и ее субъектов на основе референдума и свободных выборов. Конституционный статус России как федеративного государства-нации не позволяет делать безапелляционные заявления о том, что Россия в принципе не может быть нацией. Вместе с тем, в реальном политическом процессе в России наблюдается не только формирование предпосылок для становления национального общества, но и противоположные этому тенденции.

«Ещё не нация». В России сохраняются и даже укрепляются признаки «имперского синдрома» [см.: Раин 2016]. Россия — составное государство, унаследовавшее от имперской системы прошлых столетий «имперское тело», то есть многочисленные ареалы компактного расселения ранее колонизированных этнических сообществ, обладающих собственными традиционными культурами. Пока горизонтальные гражданские формы связи слабы, воспроизводится «имперская ситуация» [Герасимов, Могильнер 2007] параллельного и разобщённого функционирования таких общностей, связанных только через подчинение общему центру. При этом договорные отношения, взаимные обязательства между центром и регионами, характерные для национальных государств федеративного типа, формировались в России в 1990-е годы, а в 2000-е стали слабеть, уступая место возрождавшейся, точнее, целенаправленно возрождаемой имперской иерархии. В ее рамках центральная власть может произвольно и в одностороннем порядке менять «правила игры»: вводить не предусмотренные Конституцией управленческие институты (федеральные округа); разрешать или запрещать выборы глав регионов и мэров городов; по своему усмотрению денонсировать договора о распределении полномочий между центральной властью и властями субъектов федерации; выхолащивать сущность республиканских законов, например, закона о государственном языке.

Некоторые учёные утверждают, что гражданское самосознание в России растёт [Абдулатипов, Михайлов 2016], поскольку социологические опросы показывают, что на вопрос о своей идентичности большинство россиян заявляют: «Мы — граждане России», а потом уже идентифицируют себя с тем или иным регионом и этничностью. В действительности же это, во-первых, неточная интерпретация результатов социологических исследований. По данным социолога Л. Дробижевой, виднейшего специалиста в этой области, такие результаты характерны лишь для регионов России, в которых преобладает русское население (в число таких регионов входят и некоторые республики, например Башкирия и Якутия). Уже в Татарстане, где «титულიная национальность» — татары — численно преобладают, ситуация иная. Там идентификация с республикой выше, чем со страной в целом: 71 % против 63 % опрошенных соответственно [Дробижева 2013: 81]. Во всех обследованных республиках РФ у представителей народов, давших название республике, этническая идентификация выше, чем так называемая «государственно-гражданская». Во-вторых, некорректно интерпретировать идентичность с государством как синоним гражданской идентичности. На наш взгляд, эти опросы свидетельствуют лишь о преобладании у респондентов государство-центричного сознания над этническим и локально-региональным, в особенности в русских регионах. Дробижева от-

мечает, что для россиян «самым значимым фактором для консолидации является государство: оно набирает вдвое большее число голосов, чем любое другое значимое представление, объединяющее россиян — 60–75 %» [Дробижева 2013: 81].

Исследования Левада-Центра (2006–2015) показывают, что важнейший признак гражданской нации — гражданская субъектность, реализация принципа народного суверенитета — не укрепляется в России, а стремление формальных граждан России участвовать в политической жизни и влиять на нее даже падает по сравнению с 1990-ми годами. Более 2/3 опрошенных (от 67 до 87 % в разные годы) устойчиво отмечают, что они «не оказывают какого-либо влияния на политическую и экономическую жизнь в стране или регионе». Доля заинтересованных в участии в общественных делах снизилась почти втрое — с 37 (1999) до 13 % (2015). Более половины опрошенных вообще избегают вступать в какой-либо контакт с властью [Общественное мнение... 2016: 54–68]. Люди во многом живут «гаражной экономикой», своим «огородом» и в массе своей не противятся коррупции.

Важно подчеркнуть, что этот регресс никак не связан с какими-то особенностями русских как этнического большинства страны. Те же русские, в том числе и родившиеся в СССР, прекрасно доказывают свою способность к гражданской активности и демонстрируют способности к освоению либерально-демократических норм в странах, где такие нормы не подавляются властями. В России же государство все больше овладевает обществом, поэтому участие граждан в общественной и политической жизни слабеет. Вместо поощрения гражданской активности и других предпосылок, позволивших бы нации реализовать себя, российские власти выстраивают декоративный фасад «единства», «духовных скреп» и «международного согласия», призванный скрыть фактическую профанацию проекта гражданской нации. Совокупность политических инструментов, используемых властями, вводит историческое сознание россиян в состояние летаргии. В нем ныне отсутствует не только национальное согласие относительно ключевых периодов и событий прошлого страны, но и их моральная оценка [Гудков 2010]. Поэтому массовое сознание в высокой степени поддается манипуляциям, в том числе относительно политики власти по созданию «удобного» прошлого за счёт скрещивания советских и монархических символов, например, сооружения все новых памятников как Сталину, так и царям — Николаю II, Александру III и даже такой абсолютно одиозной фигуре в российской истории, как Иван Грозный.

Возрождается связь имперской иерархии с религиозной, прежде всего с иерархией Русской православной церкви. Осознавая популярность традиционалистских представлений в России, первые лица государства подчёркивают свою связь с «народностью» по технологии, предложенной ещё графом Уваровом: «Православие, самодержавие, народность». Владимир Путин и Дмитрий Медведев постоянно демонстрируют свою православную идентичность, не особо заботясь о защите светского характера государства. В России принят закон «о защите чувств верующих», но никто не защищает чувства атеистов. Между тем, в стране с преобладанием этатистского сознания государственная поддержка клерикализма ведёт к росту различных форм религиозного фундаментализма. Недавно появилась радикальная православная партия «Христианское государство», во многом подражающее запрещённому в России движению «Исламское государство». Воспроизводятся и специфические нормы имперского, милитаристского языка в официальном дискурсе. Подобно тому, как российская дипломатия заново освоила агрессивный язык, напичканный пропагандистскими штампами времён холодной войны, в России к настоящему моменту вызрел и новый-старый дискурс «национальной политики». Изменились лишь лозунги и этикетки: «дружба народов» превратилась в «политическую цивилизацию» с особым «культурным кодом» [Малинова 2012].

Однако, чем больше воспроизводится архаичная имперская ситуация, тем актуальнее вопрос: не приводит ли такая практика к долговременным проблемам и растущим дисфункциям в социально-экономической и политической системе?

Кризис постимперской ситуации в России

На наш взгляд, российское общество переживает, но пока не осознает, *кризисное состояние своей постимперской ситуации*. Этот кризис развивается медленно и неравномерно, но неуклонно, и связан он со столкновением унаследованного «имперского тела» и «имперского порядка» с новыми социальными, экономическими и политическими условиями. Казалось бы, менее всего проявления этого кризиса можно ожидать в сфере федеративных отношений. Ныне Кремль управляет регионами примерно так, как русские цари управляли провинциями. При этом управление федерацией все больше архаизируется, и сейчас назначение главы российской республики напоминают принцип передачи власти над «сатрапиями» местному правителю-вассалу. Положение Бухарского эмирата в Российской империи в некоторых деталях поразительно напоминает ситуацию с отдельными республиками в составе РФ. С 1868 года правителями Бухары стали эмир Музаффар, объявивший за некоторое время до того газават (священную войну) России, и его наследники. Точно так же в 2000 году (сначала как глава временной администрации, а затем как президент) лидером Чечни стал Ахмат Кадыров, ранее, в 1995 году, объявивший газават России, и его наследник Рамзан Кадыров, участвовавший в этой священной войне. Все похоже, но только ныне неравные статусы территорий вступают в противоречие с конституционной нормой о равноправии субъектов Федерации, и при случае этим могут воспользоваться силы, недовольные неравенством в распределении средств из единого государственного бюджета. Это неравенство и сегодня все болезненнее воспринимается как элитой, так и населением соседних территорий в условиях куда более единого, чем в империи Романовых, информационного и политического пространства России.

Изменилась и демографическая ситуация со времён Российской империи и СССР. Тогда численность русского населения в колонизированных районах росла, а сейчас она сокращается практически повсеместно в «этнических» республиках. И эта ситуация порождает множество конфликтов. Например, именно в последние годы конфликтность все чаще проявляется в вопросах национальных языков республик Российской Федерации. На их изучении в государственных школах настаивает местная элита, и закон на ее стороне, но этой практике сопротивляется русское население, особенно там, где оно пока составляет относительное большинство, которое быстро сокращается.

Больше всего воспроизводству традиционной имперской ситуации препятствует такое новое обстоятельство, как радикально возросшая в постсоветские годы социальная и территориальная мобильность населения. В эпоху классических империй народы, как колонизированные, так и жители метрополии, веками сохраняли свои особые уклады, поскольку большая часть населения рождалась и умирала в границах своих этнических территорий. По переписи 1926 года, даже после пертурбаций гражданской войны, только 25 % населения СССР жили за пределами мест, где они родились, тогда как по данным последней российской переписи 2010 года таких было уже более половины (53,8 %) [Вишневецкий 2013: 462]. Территориальная мобильность в Российской Федерации иная, чем была в СССР. И масштаб, и структура миграционных потоков изменились как за счёт прироста «вынужденной миграции» из зон постсоветских конфликтов, так и за счёт свободной миграции, когда люди сами выбирают себе место жительства. В Советском Союзе свободные перемещения сдерживались государственным регулированием перемещения населения, институтом прописки, де-

фицитом жилья и отсутствием собственности на него. Так или иначе, по словам Ж. Зайончковской, после распада СССР свободные миграции в пределах России, а также отток людей из страны и особенно приток в нее из бывших постсоветских республик существенно возросли и стали более разнообразными по сравнению, например, с 1980-ми годами. Россия получила «беспрецедентно высокий миграционный прирост. В расчёте на год он был в два с лишним раза больше, чем в 80-е годы» [Зайончковская 2005].

В сложившихся условиях миграции из бывших инокультурных окраин в бывший имперский центр создают условия для широкого распространения расизма и ксенофобии, которые становятся частью компенсаторного, «оборонительного» сознания населения экс-метрополии, переживающего распад имперского пространства. В 2011–2013 годах по городам России прокатилась серия столкновений местных жителей с мигрантами. Вначале беспорядки затронули, в основном, небольшие города и посёлки (Сагра, Демьяново, Пугачев и др.), а в 2013 году они перекинулись на крупнейшие города и их агломерации — Бирюлево в Москве, рынок «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге. Ещё раньше, в декабре 2010 года, на Манежной площади российской столицы собралась большая толпа рассерженных футбольных фанатов и русских националистов. Собрание затем переросло в столкновения с милицией и в уличные бои между манифестантами и «кавказцами». К 2013 году ксенофобия в России достигла максимума за все время социологических наблюдений в постсоветскую эпоху [Паин 2014]. В 2014–2015 годах ситуация вновь изменилась — ксенофобия по отношению к мигрантам из Средней Азии и Кавказа снизилась, внимание общества было переключено на события в Крыму и на Донбассе. Однако значительный потенциал ксенофобии по отношению к выходцам с Северного Кавказа и из стран Центральной Азии сохраняется. За тем фактом, что колониальные завоевания этих территорий в прошлом были наиболее продолжительными, кровавыми и дорогостоящими [Khodarkovsky 2011, Моррисон 2015], очевидно, скрывается нечто большее, чем просто ирония истории.

В России постимперский синдром ощущается гораздо более остро, чем во многих других странах с колониальной историей. Конечно, после распада СССР и Чеченской войны на данный момент прошло существенно меньше времени, чем после завершения французской войны в Алжире (1962) или отмены расовой сегрегации в США (1965). Однако более существенно то обстоятельство, что с тех пор Россия существенно не продвинулась в сторону политической и правовой модернизации. Если в развитых странах с колониальным наследием ему было противопоставлено укрепление гражданских связей и защита прав меньшинств, то в России, по сути, лишь нечто вроде реинкарнации советского дискурса о «дружбе народов» и «патриотизме». В этих условиях характерно, что массовые волнения, вспыхивающие в российских городах на этнической почве, проявляются как выражение недовольства со стороны представителей этнического большинства, которое направляет его на меньшинства. Участники этнических бунтов в России, в отличие от относительно сходных городских столкновений в тех же Франции или США, не обращаются напрямую к государственным органам (полиции, судам) с требованиями, чтобы те добросовестно исполняли предписанные законом функции. Напротив, толпа требует вершить «правосудие» самостоятельно и наказать виновников того или иного конкретного происшествия, послужившего катализатором волнений. Будучи отчуждёнными от институтов власти, от государства, протестующие действуют в логике своей отчуждённости. Люди не верят в саму возможность повлиять на ситуацию на местном уровне и в масштабах страны. В такой ситуации бунт, вспышка массового недовольства, приобретающая черты этнорасового насилия [Zakharov 2015], является проявлением слабости реальных социальных связей, низкого доверия и отсутствия политической культуры участия.

Важнейшим следствием нереализованности проекта гражданской нации в России как раз и является *слабеющее доверие к общественным институтам и к другим членам сообщества*, осознанная и активная солидарность в котором подменяется пассивной лояльностью правителю и высшему начальству. Сохранение нынешнего эклектического монстра — *уже не империи, но ещё не нации* — представляет собой нарастающую проблему. Накапливается все больше доказательств того, что Россия уже не может жить так, как жила в эпоху классических империй. И дело не только в том, что внешний мир ей этого не позволяет; ее внутреннее устройство включает в себя обширные пространства, занятые новыми институтами, прежде всего экономическими и политическими, которые буквально задыхаются в условиях низкого общественного доверия, подавляемого авторитарным государством.

Итак, сегодня, как и прежде, существуют фундаментальные факторы, побуждающие вертикальные имперские и постимперские режимы, типа российского, трансформироваться в государства-нации. Процесс национального строительства всегда длительный и растягивается на десятилетия, если не века, поскольку он связан с многочисленными пробами и ошибками на пути адаптации к новым условиям. В России же он особенно тернистый, учитывая длительность существования здесь имперского режима и уже веками отработанной технологии камуфляжа старых моделей и имитации новых. Наконец, необычайную сложность процессу национально-гражданской консолидации в России придаёт то обстоятельство, что в казавшихся «постнациональными» странах Запада сегодня заметен кризис гражданских ценностей и демократических институтов.

Национальный раскол в странах Запада: основные проявления и факторы

Западный мир переживает непростые времена. Его политические и интеллектуальные круги заворожённо наблюдают за цепью драматических перемен в ожидании худшего. Наблюдатели, побывавшие на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2017 года, отмечают «удивительное ощущение неуверенности Запада в себе, которое контрастирует с самоуверенностью, которая на протяжении многих лет царила на подобных форумах» [Лукьянов 2017]. О потере ориентиров пишут видные западные и в частности европейские интеллектуалы. Если ещё «в начале 1980-х западный мир был убеждён в том, что создаёт процветающее общество», то теперь эта вера в свои силы «уступила место неуверенности, страху и безысходности», — говорит французский социолог Эдгар Морен [Morin 2016]. Кризис доверия, охвативший страны Запада (и, разумеется, не только их), имеет многочисленные социальные, экономические и политические предпосылки. Этот кризис отражает глубокие трансформации последних десятилетий, которые во многом изменили облик западных обществ и, вместе с тем, обусловили ряд проблем в их развитии.

В числе таких трансформационных проблем мы выделяем, прежде всего, *фрагментарность и неравномерность развития* различных сторон жизни стран Запада. Нарастающие с 1970-х годов обороты коммерческой и информационной глобализации сочетались в этих обществах с процессами замедления экономического роста, деиндустриализацией целых районов, дерегуляцией трудовых отношений и распространением неполноценной, ущемлённой в правовых и социальных гарантиях занятости. Все это в первую очередь ударило по рабочему классу и наибольшей части средних слоёв (*lower middle class*), с благополучием которых принято связывать устойчивость демократических политических систем.

Важным фактором несбалансированной трансформации западных обществ стал *бурный рост их мультикультурности*, особенно этнической и религиозной. Эти общества стали значительно сложнее и разнообразнее в культурном отношении. Потоки мигрантов в богатые страны глобального Севера с куда менее преуспевающего Юга вызвали изменение обще-

ственных и государственных институтов принимающих стран, хотя бы потому, что многие из мигрантов сильно отличаются по культуре от большинства их населения. Эти культурные различия в какой-то мере могли быть обогащающими и стимулирующими развитие культур принимающих сообществ, однако чаще они порождали проблему роста *культурной дистанции*. Эта проблема долгое время не осознавалась в большинстве западных обществ и не устранялась в рамках политики «мультикультурализма». Проблема интеграции мигрантов осложнялась и принципиально новыми историческими обстоятельствами, а именно неизмеримо большим, чем в прошлом, влиянием на мигранта традиционной среды в странах исхода. Если ещё в середине XX века переезд человека в другую страну, как правило, означал путешествие в один конец, то в современном мире это уже совсем не так: связи с родиной можно поддерживать как на дистанции (при помощи телефона и Интернета), так и преодолевая расстояния благодаря высокоскоростным средствам транспорта. Новые технические возможности привели к появлению и квазитрадиционных структур глобального масштаба, таких, например, как всемирная исламская умма, ныне являющаяся хотя и виртуальным явлением, но оказывающим реальное влияние на поведение адептов ислама во всем мире.

Эмансипация меньшинств, трансформация семейных отношений и общая либерализация нравов также существенно изменили общества Запада. В этой связи, на основе данных проекта *World Values Survey*, социологи говорят о существенных изменениях гражданских ценностей и поведенческих установок: от модели «лояльных граждан» (*allegiant citizens*) к типу граждан «самоуверенных» (*assertive citizens*), которые в большей степени ориентируются на самовыражение, дистанцируются от авторитета в семье и в политике, меньше доверяют институтам и предпочитают стратегии мирного одобрения/протеста участию в выборах [Dalton, Welzel 2014]. Безусловно, все это порождает новые возможности развития, но также и новые проблемы для интеграции в гражданскую нацию не только мигрантов, но и разных категорий потомственных граждан стран ЕС и США.

В более сложных, культурно гетерогенных и эмансипированных обществах, где происходят болезненные экономические перемены, а дистанция между представителями разных культур, между управляющими и управляемыми становится все более осязаемой, с неизбежностью возникает вопрос: а что объединяет между собой иммигрантов и местное население, «меньшинства» и «большинство», бедных и богатых, элиты и массы? Что их связывает в единое общество поверх множества видимых различий? Образуют ли они, как в прежние времена, единую нацию граждан, для которых чувство социальной солидарности и преданность общему благу ещё что-то значат? Все это *вопросы национального согласия и национальной идентичности*, которые не один год вызревали в лоне западных обществ, прежде чем выйти наружу в форме «трампизма», Брексита и антиевропейского популизма. Парадокс демократий Запада заключается в том, что в определенный момент правящие элиты самоустранились от поиска ответов на эти вопросы. Выдающийся американский социолог Кристофер Лэш назвал данный феномен «*восстанием элит*» [Lasch 1995].

Наиболее богатые и влиятельные группы всегда отличались от непривилегированных классов не только по социальному статусу, но и по соответствующему образу жизни. Однако в прошлом, как доказывал Лэш, элиты являлись неотъемлемой частью своего городского сообщества и публично выражали преданность сообществу национальному. Несмотря на собственное благополучие, они находились в курсе проблем, с которыми изо дня в день сталкивались их сограждане в обычной жизни. Сегодняшние «привилегированные классы — в их расширительном определении: наиболее преуспевающие 20 % населения» [Lasch 1995: 45], напротив, живут обособленной от остальных жизнью не только в социальном и символическом, но и в непосредственном географическом смысле. Богатые пригороды и люксовые кварталы мегаполисов отделили их мир от мира «плохих новостей» и чуждых им проблем,

таких как «спад производства с последующей потерей рабочих мест; сокращение среднего класса; возрастающее число бедных; ползущая вверх преступность; процветающая наркоторговля; упадок городов» [Lasch 1995, p. 3]. Представители высших слоёв общества твердят о достоинствах мультикультурализма, но никак не расплачивается за это: элита не конкурирует с мигрантами на рынке труда, она не встречается с мигрантами в своих «золотых гетто», разве что как с прислугой [Guilluy 2016].

Если раньше успех привилегированных групп был связан с репутацией, приобретаемой делами на благо жителей местного сообщества и всех соотечественников, то теперь он в большей мере зависит от индивидуальной мобильности, полезных знакомств и личных связей, приобретающих все более глобальный характер. Вишенными обратной связи с «простым народом» политические, медийные, экономические и художественные (условный Голливуд) элиты в значительной мере утратили узы солидарности с согражданами и чувство ответственности перед своей страной. Тому есть многочисленные эмпирические свидетельства. Например, по данным американской аналитической компании «Edelman», практически повсеместно на Западе, особенно после экономического кризиса 2008 года, наблюдается растущий «разрыв доверия» (*trust gap*) между «информированной частью общества» и «массовым населением» в их отношении к ключевым институтам, таким как образование, СМИ и особенно исполнительная и законодательная власти государства [Edelman Trust Barometer... 2017].

Описывая США в начале 1990-х годов, Лэш отмечал, что многие представители привилегированных слоёв «перестали считать себя американцами в каком бы то ни было значимом смысле, связанном с судьбой Америки, в счастье или в несчастье. Их привязанность к международной культуре работы и отдыха — коммерции, индустрии развлечений, информации и „информационного поиска“ — делает многих из них глубоко безразличными к перспективе американского национального упадка» [Lasch 1995: 46]. К весьма близким выводам чуть позже пришёл Сэмюэл Хантингтон в своей последней крупной монографии о вызовах американской идентичности [Huntington 2004].

Популизм — обратная сторона элитизма

В последней трети XX века проявилась, и с тех постоянно нарастала, критика национального государства и самой идеи нации, будь то критика с философских, эстетических, социально-политических или моральных позиций. Завышенные ожидания от краха коммунизма и успехов глобализации в конце прошлого столетия сделали эту критику чуть ли не интеллектуальным мейнстримом. Во всех случаях она исходила от образованного и преуспевающего класса людей — ученых, философов, журналистов, артистов, бизнесменов и политических лидеров леволиберального толка. Одновременно с этим возрастала мода на все, что связано с феноменами «транс-» и «постнационализма», «глобального гражданского общества» и «европейской демократии». Рамки национального государства показались космополитизировавшимся элитам слишком тесными, а привязанность к национальному сообществу — анахронизмом в мире возрастающего разнообразия. Тем более непонятной и возмутительной в их глазах предстала реакция «консервативных масс», голосующих за контрэлитные группировки с их радикально-националистическими и агрессивными лозунгами, а то и вовсе демонстрирующих (например, посредством абсентеизма) тотальное разочарование в политике, демократии, государстве, одним словом — «системе».

Пожалуй, ничто так наглядно не иллюстрирует глубину национального раскола западных обществ в начале настоящего века, как трактовка охватившей их волны национал-популизма со стороны левой, либеральной и прогрессистской публики. В этих кругах избрание

Трампа на пост лидера мировой сверхдержавы и Брексит в Великобритании были восприняты как мрачное предзнаменование грядущей катастрофы². Одновременно, защита нынешнего порядка вещей и глобализации определяется как оборона осаждённой цивилизации от нарастающего напора варварства и трайбализма. Мы выделяем, как минимум, три наиболее распространённых варианта проявления данного дискурса.

1. «*Возрождающийся национализм*». Слово «национализм» в современном политическом языке Запада итак однозначно прочитывается как негативная стигма (в том числе и самими национал-популистами, предпочитающими именовать себя «патриотами»), но и указание на «возрождение» здесь не случайно: оно недвусмысленно отсылает к Межвоенному периоду (1918–1939), отмеченному в Европе появлением и распространением фашизма. Однако с научной точки зрения, сравнения современных национал-популистских партий с фашизмом выглядят весьма сомнительно [Taguieff 2015]: в отличие от фашистских движений прошлого (и настоящего), цели современного популизма идентичности носят отнюдь не мессианский и не революционный, а «оборонительный» характер. Лозунг «Мы у себя дома!» (*On est chez nous!*), непременно сопровождающий собрания и акции сторонников французского Национального фронта, отражает суть идеологии всех подобных движений — защитить, путём акцентирования и противопоставления, «нашу идентичность» и «наш образ жизни» перед лицом иммиграционных потоков, ислама и европейской интеграции/глобализации. Национал-популисты новой волны не стремятся к уничтожению демократической системы, но последовательно играют по ее правилам. Оппонируя модели либеральной демократии, современные национал-популистские движения выступают с проектом преобразования последней с позиций монокультурализма и «урезанного» либерализма, очерченного национальными границами. Другими словами, можно говорить о концепции «демократии большинства» (схожие модели уже реализуются в других странах ЕС, например, в Венгрии и Польше). Условием доступа к плодам таким образом понимаемой свободы (равно как и другим общим благам) провозглашаются, во-первых, готовность принять господствующие в обществе культурные образцы поведения, и во-вторых, публичная демонстрация лояльности доминирующим нормам и ценностям сообщества.

Непонимание этих отличий нынешних национал-популистов от националистических движений прошлого, способствующее бесконечному воспроизводству поверхностных аналогий в леволиберальной среде, приводит к результатам, обратным поставленным целям. Вместо разоблачения и лишения неопопулистов какой-либо социальной поддержки, стратегия их демонизации со стороны истеблишмента (одновременно с кампаниями этих движений по реабилитации собственного имиджа) лишь подтверждает их образ непримиримых борцов с «системой».

2. «*Бунт лузеров глобализации*» — это ещё один из вариантов трактовки в медийном пространстве причин роста национал-популизма. Резкое неприятие и высмеивание политических лидеров националистического толка на страницах прогрессивной прессы и в либеральной блогосфере часто переносится на активно поддерживающие их массы избирателей или стоящее за ними «молчаливое большинство». Так, поддержка Трампа и голосование за Брексит подаются как реакция озлобленных «лузеров глобализации» [см.: Merler 2017; Mudde 2016], ностальгирующих по ушедшей эпохе стабильности и процветания национальных государств. Шокированная либеральная общественность в США изобличает «восстание рассерженных белых мужчин» [см.: Sedensky 2016], грезящих образом «великой Америки» 1950-х годов [см.: Edwards-Levy 2016; Gaskell 2016] — атомной сверхдержавы во главе капиталистического мира, переживающей индустриальный подъем и не знающей слова «политкор-

² И это несмотря на тот факт, что британцы всегда были скептиками в отношении европейской политической интеграции, валютного и миграционного союза.

ректность». Что же касается англичан, то они, по мнению профессора Кембриджа Николаса Бойла, охвачены иной ностальгией — по былому имперскому величию. «Еврофобия, продемонстрированная на референдуме, — пишет он, — является специфически английским психозом, нарциссическим выражением именно английского кризиса идентичности». (Речь идёт об англичанах, а не британцах, поскольку в Шотландии и Северной Ирландии, а также в космополитическом Лондоне, большинство высказалось за *Remain*). Лишь когда англичане осознают, что «в мире — в действительности, на Британских островах — живут не только они сами», можно будет надеяться на то, что «доведшие Англию до Брексита иллюзии наконец будут рассеяны в результате контакта с реальностью». Тогда же «излеченные от психоза англичане попросятся назад в ЕС» [Boyle 2017].

3. *«Архаичная реакция на прогресс»*. Данная разновидность элитарного дискурса не сильно отличается от двух предыдущих. Сквозь эту призму национал-популистские движения в современной Европе и США рассматриваются как негативная реакция на прогресс, вернее на то, что сегодня под этим словом понимается: эмансипация нравов и моделей индивидуального поведения, «космополитизация» сознания и проч. Безусловно, такая точка зрения не лишена оснований. Однако она не может претендовать на исчерпывающий объяснительный характер.

На «смесь пренебрежения и опаски», с которой новые элиты взирают на массы, указывал ещё К. Лэш [Lasch 1995: 28–29]. Подобно тому, как в XIX веке западноевропейская городская буржуазия презрительно описывала рабочий люд не иначе как «опасные классы» (*classes dangereuses*) [Chevalier 1958], а крестьянское население провинций как «дикарей» (*sauvages*) [Weber 1976], современная образованная и высокостатусная публика на Западе обрушивает свой гнев и отвращение на массы «реднеков», «расистов», «традиционалистов» и «националистов». К слову, примерно так же, как (с поправкой на историко-политический контекст) российская либеральная общественность обзывает ностальгирующих по брежневской эпохе россиян «совками», а одобряющих политику президента Путина сограждан — «ватниками». В этой риторике столь же много пафоса и социального расизма, как и полтора века назад, но чего в ней не хватает, так это маломальского стремления понять, убедить, просветить, а для начала хотя бы вступить с оппонентом в диалог. Справедливо изобличая необоснованные страхи и ксенофобию соотечественников, просвещённая западная публика сама демонстрирует крайнюю нетерпимость. Поэтому неудивительно, что такой подход образованных слоёв общества лишь углубляет символический раскол между «космополитическими элитами» и «простым народом», вносимый риторикой популистов. В конечном счете, морализаторство в адрес «неудачников» и «страдающих психозом» сограждан фактически означает признание интеллектуального и политического бессилия говорящего.

Мы полагаем, что новые формы европейского и американского национализма, принимающие популистскую стилистику, являются не только и не столько протестом против прогресса, сколько *выражением антиэлитизма*. Другими словами, ответом на разрыв связи (разрыв, во многом, вполне реальный, но нередко и мнимый) между правящими и задающими интеллектуальную моду группами, с одной стороны, и непривилегированными классами — с другой.

Светлана Бойм, авторитетная исследовательница ностальгии, отмечала, что этот феномен не есть «враг современности, а ее составная часть». Это относится не только к рефлексивной ностальгии, отсылающей «к индивидуальной и культурной памяти», но и к ностальгии реставрирующей, которая «занимается прошлым и будущим нации» [Boym 2001: 49]. Вот и нынешние национализмы идентичности бросают *современный* вызов западным демократиям, делая это в том числе при помощи ностальгии — конструирования утопии прошлого и мифологизации исторического времени. Яркие, но вместе с тем предельно расплывча-

тые образы «старой доброй Англии», «великой Америки» или, скажем, «нежной Франции»³ времён послевоенного экономического подъёма не столько отсылают, как кажется на первый взгляд, к прошлым эпохам, сколько служат символическими маркерами актуальных политических притязаний.

Историк Джеффри Хоскинг связывает нынешнюю волну национал-популизма в странах Европы с *эрозией национального государства* в процессе экономической глобализации, притом что государству и сегодня нет равных как в воспроизводстве «символических систем, создающих и поддерживающих широкое доверие в обществе (generalized trust)», так и в управлении «функции менеджера публичных рисков (public risk manager)» [Hosking 2016: 212]. Без принятия в расчёт этих обстоятельств невозможно объяснить, почему, например, новые националистические движения являются «правыми в вопросах этнической политики (ethnic policy)» и одновременно «левыми в вопросах экономики» [Hosking 2016: 219]. Открыто демонстрируя и распространяя ксенофобию, практически все европейские национал-популисты «хотят выстроить заслон против транснациональных компаний и восстановить государственный контроль над движением капиталов (capital controls)» [Hosking 2016: 219]. И хотя все они выступают с инициативами по снижению налогов для среднего класса и мелкого бизнеса, некоторые из них, как Марин Ле Пен, одновременно критикуют политику бюджетной экономии (*austerity*) и борются за сохранение и даже расширение существующих социальных гарантий. В этом свете было бы ошибкой (как к тому подталкивает интерпретация в логике «протеста против прогресса») сводить антииммигрантский и исламофобный дискурс европейских национал-популистов к реваншу за «ценности дедов» [см.: Агаев 2017], а их радикальную критику глобализации и европейской интеграции исключительно к онтологическому страху перед фигурой Другого. За этой критикой в не меньшей, а вероятно и в большей степени стоит неприятие проводимой правящими элитами политики и особенно их опора на «одностороннюю» коммуникацию, не предполагающую активного участия граждан.

К подобному заключению приходит политический философ Майкл Сэндел в своем анализе победы Трампа на президентских выборах в США. По его словам, прогрессивные партии «должны извлечь для себя урок благодаря потеснившему их популизму, <...> принимая всерьез обоснованное беспокойство (legitimate concerns)» части общества, скрывающееся за внешней оболочкой нетерпимости и ксенофобии [Milano 2017]. Сэндел выделяет четыре основных сюжета, которые лежат в основе растущего беспокойства американцев и выступают причиной небывалой популярности «трампизма». Это — углубляющееся неравенство доходов, меритократическое высокомерие (*meritocratic hubris*) элит, падение престижа работы (*the dignity of work*) в обществе и, наконец, вопросы патриотизма и принадлежности к национальному сообществу [Milano 2017]. Попытка предложить адекватные пути решения этих проблем, таким образом, упираются в необходимость смены привычной для либеральной общест­венности оптики. С этой же необходимостью недавно пришлось столкнуться и европейским элитам.

Едина Европа и национальная идентичность

В политическом языке Евросоюза вопросы идентичности всегда оставались на периферии и по большей части рассматривались в негативном ключе: само слово «идентичность», в первую очередь, ассоциировалось с национальным сознанием и так называемым «национальным эгоизмом» государств-членов — инерционным образом мыслей и действий, тормозя-

³ «Douce France», так называлась известная песня, записанная шансонье Шарлем Трене в 1947 году.

щим европейскую интеграцию или препятствующим ей. Не секрет, что проект объединённой Европы задумывался с целью ослабления национальных идентичностей входящих в него стран (немецкой, французской, бельгийской, итальянской и др.) и преодоления государственных границ, сковывающих свободное передвижение капиталов и людей. Политический миф основания (*foundational myth*) Евросоюза, таким образом, основывается на утверждениях, что «единая Европа появилась как ответ на провалы первой половины XX века» и что «европейская интеграция была результатом стремления преодолеть национализм во имя обеспечения стабильности и экономической безопасности на континенте» [Della Sala 2016: 532].

Что же касается общеевропейской идентичности, то проект по ее конструированию, по существу, так и не был разработан. Ещё во времена «отцов-основателей» Евросоюза Жана Монне и Робера Шумана предполагалось, что мотором европейской интеграции выступает экономическая кооперация, за которой неминуемо следует создание общих управленческих и политических структур. Остальное, как говорится, приложится. Однако по мере углубления процессов интеграции европейских экономик накапливалось все больше противоречий, решить которые не удавалось и при помощи таких институтов, как Европарламент, Европейская комиссия и Европейский совет. Со временем выяснилось, что ЕС по-прежнему остаётся всего лишь союзом национальных государств, в котором важнейшие вопросы как внутренней (прежде всего бюджетной), так и внешней политики решаются на основе консенсуса глав национальных государств или глав их правительств. Дефицит общего видения единой Европы среди элит европейских стран, в том числе как геополитического образования в глобальном мире, отчётливо проявился в начале нынешнего столетия [Lacoste 2014]. Растущее недоверие граждан к Брюсселю, в свою очередь, создавало почву для новых распри и недовольства «европейским вектором» политики своих стран.

За несколько лет до наступления масштабного миграционного кризиса, расколовшего и рассорившего европейские правительства, а также беспрецедентного решения Великобритании о выходе из состава ЕС Фрэнсис Фукуяма отмечал: главная проблема Евросоюза, от решения которой зависит его будущее, состоит не в сложностях экономической интеграции и даже не в работе европейских политических институтов, а в вопросе европейской идентичности. Констатируя системный сбой на этом направлении, политолог указывал на то, что «никогда не существовало удачной попытки создать европейский смысл идентичности, европейский смысл гражданства, которое определило бы права и обязанности европейцев по отношению друг к другу за рамками формальных договоров» [Fukuyama 2012]. Впрочем, даже если бы четкий проект по формированию сознания наднационального европейского сообщества был предложен, он неминуемо натолкнулся бы на целый ряд объективных трудностей. Причина этого состоит в том, что европейская концепция идентичности изначально не может опереться на единую культуру, один язык и общую историю, а потому она заранее проигрывает в конкуренции национальным формам сознания.

Отсутствие консенсуса в представлениях о европейской культуре проявилось во время подготовки проекта Конституции ЕС, которая так и не вступила в силу, будучи отвергнутой на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Тогда много шума наделали споры о культурном наследии Европы. В центре разногласий оказался *вопрос о роли духовных ценностей*: одни настаивали на признании особой роли христианства (а также других религий — иудаизма и ислама) в формировании европейской цивилизации, тогда как их оппоненты высказывались за приоритет ценностей гуманизма и светской традиции Просвещения, сформировавшей основы современной Европы [см.: Bossuat 2005]. Однако в действительности ни гуманистические ценности, такие как права человека, демократия и терпимость, ни тем более христианство не могут служить надёжной основой европейской идентичности. Религия в Европе, по преимуществу, стала частью личной жизни людей, и хотя возможности

общественной мобилизации на базе апелляции к христианским ценностям далеко не исчерпаны (в особенности по вопросам вроде права на аборт или однополых браков), эти ценности больше не могут служить основой для консолидации всего общества ни в одной из стран ЕС, включая наиболее религиозные Польшу и Италию. С другой стороны, официально декларируемые гуманистические идеалы европейской цивилизации, несмотря на (вполне справедливое) подчёркивание исторической роли Европы в их кристаллизации и распространении по миру, мыслятся и понимаются как универсальные ценности. Попытки подчеркнуть их европейскую специфику наталкиваются на обвинения в «евроцентризме», и это существенно ограничивает возможности чёткого определения символических (и даже политических) границ единой Европы.

Не меньше проблем с языковым разнообразием. Девиз Евросоюза гласит: *In varietate concordia*, «Единство в разнообразии». Тема плюрализма культур, традиций и языков европейцев — один из ключевых элементов дискурса европейских элит. В ЕС официально признаны 24 языка (не считая таких языков, как каталанский и уэльский, имеющих статус «приравненных к официальным», *co-official languages*), на которых публикуются все документы и ведётся работа в Европарламенте. Однако наиболее популярными рабочими языками являются только два — французский и английский. Французский, в первую очередь, потому, что местом расположения штаб-квартиры Евросоюза был выбран Брюссель, английский — как самый популярный язык международного общения в послевоенной Европе и мире (собственно, английский язык потеснил французский, прежде игравший роль языка международной дипломатии и деловой переписки). Остальные языки, включая немецкий, по сути, находятся на второстепенных позициях, притом что ФРГ, по всеобщему признанию, является мотором ЕС.

Проблема общеевропейской исторической памяти особенно ярко проявилась в последние десятилетия, в частности после подписания Маастрихтского договора (1992). Именно тогда заметно ускорились процессы конструирования общеевропейского исторического нарратива и коллективной памяти [Gensburger, Lavabre 2012]. Чаще всего выбор делался в пользу нейтральных символических стратегий, которые должны были «никого не обидеть», но от этого лишались эмотивной составляющей. Наиболее яркий пример — банкноты евро, на которых видны «стилизованные изображения мостов, готических или романских арок», неидентифицируемых с тем или иным конкретным местом [Дьекофф, Филиппова 2014: 197]. Несмотря на подобную политику, процессы создания европейской памяти сталкиваются с целым рядом проблем, вытекающих из разнообразия исторического опыта и оценок прошлого. В этом отношении основной водораздел, если не сказать глубокий раскол, пролегает между странами Западной и Центральной Европы.

В Западной Европе ключевым сюжетом дебатов на исторические темы является переосмысление имперского прошлого и преодоление колониального наследия. С утверждением «постколониального сознания» связано переписывание школьных и университетских программ по истории и смена символической политики западноевропейских государств. Напомним, что все страны Западной Европы, стоявшие у истоков европейской интеграции, за исключением Люксембурга, долгое время были имперскими метрополиями. Этот общий опыт, безусловно, объединяет национальные стратегии стран Западной Европы по осуществлению ревизии исторического сознания. Однако в процессе расширения Европейского Союза, когда в 2004 году в его состав вошли государства Центральной Европы и балтийские республики, предмет обсуждения политики памяти принципиально изменился. В отличие от западноевропейских стран, разоблачающих собственное имперское прошлое колонизаторов, государства Центральной Европы и Балтии предложили другой образ — сознание общества-жертвы, пострадавшего от советской оккупации и нуждающегося в национальном возрождении. Что ка-

сается Венгрии, то там весьма заметна и «имперская ностальгия» — болезненная память об утраченных после двух мировых войн венгерских землях, ставших частью Румынии, Словакии, Сербии и других государств. Если на западе Европы заметны некоторые признаки ослабления национальной идентичности вследствие роста внимания к правам меньшинств и выработки позитивного восприятия культурного разнообразия, то на востоке континента наблюдается другая историческая динамика: после краха Советской империи здесь возобновились процессы конструирования образов этнически гомогенных наций, а тема мультикультурности в публичном пространстве, мягко говоря, не пользуется большой популярностью. Эти различия в политике памяти существенно обострили внутриевропейские противоречия, выходящие за рамки собственно споров об истории.

Миграционный кризис фактически разделил Евросоюз на два лагеря, каждый из которых имеет вполне ясные географические очертания. Во главе стран, выступивших за приём беженцев от имени гуманизма и европейской солидарности, оказалась Германия, воспринимающая себя как виновницу за развязывание самой разрушительной в истории войны и геноцид евреев. И хотя волна критики в адрес немецкого руководства продемонстрировала, что внутригерманский консенсус относительно прошлого с недавних пор подвергается эрозии, ФРГ за два года приняла более миллиона ближневосточных беженцев. Лидеры других стран на западе, севере и юге Европы, хотя и без особого энтузиазма и с большей осторожностью в оценках, в целом поддержали позицию канцлера Меркель. Напротив, в лагере противников приёма беженцев единым фронтом выступили все «постсоциалистические» страны Центральной Европы и Балтии. Лидеры этих государств просто отказались принимать мигрантов, притом что ни одна из этих стран, за исключением Венгрии, практически не испытала на себе никакого эффекта от миграционного кризиса.

Несмотря на это, тема миграции в Европу была использована руководством центральноевропейских стран как средство оспаривания изнутри нынешней структуры Евросоюза и даже самой целесообразности его существования. Так, отрекшись от напоминаний о более чем 170 тысячах венгерских беженцев, бежавших из страны после событий 1956 года и принятых в странах Западной Европы [Petite 2016], премьер Венгрии Виктор Орбан трансформировал свою традиционно жесткую антимигрантскую позицию в ультимативную риторику, адресованную Брюсселю. В разгар кризиса беженцев Орбан дошёл до того, что принялся разоблачать угрозу «советизации» Евросоюза [Gutteridge 2016] (отметим неслучайный характер этой псевдоисторической отсылки). Тем временем, бывший президент Чехии Вацлав Клаус и его помощник опубликовали книжку с характерным названием: «ООО „Переселение народов“». Изобличая «лицемерный и извращённый гуманизм» европейских элит, взывающих к солидарности и распределению беженцев по квотам между государствами-членами ЕС, авторы фактически обвиняют «матушку мигрантов» Ангелу Меркель и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в использовании кризиса на Ближнем Востоке в собственных целях. А именно для дискредитации внутриевропейской оппозиции (то есть таких людей, как сам Клаус) и даже для замещения коренного населения континента «новыми европейцами» [Клаус, Вейгл 2017].

Подведём предварительный итог: на пути создания европейской идентичности возникло множество трудностей, преодолеть которые в обозримой перспективе не представляется возможным. Но все же главная проблема, препятствующая наполнению символическим и практическим смыслом понятия европейского гражданства, пожалуй, заключается в отсутствии европейского гражданского общества как такового и в слабости единого публичного (политического) пространства Евросоюза. Без ощущения общности, базирующейся на культурных связях и чувстве солидарности поверх национальных границ, не возникает и чувства сопричастности рядовых европейцев с осуществляемой от их имени политикой, на

которую они при этом практически никак не могут повлиять. Поскольку, по словам Алена Дьёкоффа, «европейское гражданское общество находится в лучшем случае в зачаточном состоянии» [Дьёкофф, Филиппова 2014: 197], у обычных европейцев не возникает большой заинтересованности в европейской повестке, выходящей за рамки повестки национальной. Отмечая высокий уровень неучастия на европейских выборах (в среднем в государствах-основателях ЕС он колеблется в районе 55 %, а в других странах — ещё выше), политолог указывает и на другое обстоятельство: «подавляющее большинство населения государств-членов [Евросоюза] по-прежнему перемещается исключительно или по большей части внутри национальных границ» [Дьёкофф, Филиппова 2014: 197]. В целом же «можно сделать вывод лишь о живучести национальной идентичности в Европе, будь то в форме привязанности к национальному государству, популистского и реакционного национализма или „регионального национализма“» [Дьёкофф, Филиппова 2014: 198].

Провал проекта европейской «транснациональной демократии» признают даже ее борники, такие как Юрген Хабермас. Немецкий философ указывает на неслучайную связь между тем обстоятельством, что «европейская политика не укоренена в гражданском обществе», и такой организацией Евросоюза, при которой «ключевые экономические решения, затрагивающие интересы всего общества, выведены из-под демократического контроля (removed from democratic choice)» [Habermas 2016]. Крайняя слабость европейского публичного пространства, в частности, способствует тому, что депутаты Европарламента, то есть представители европейских граждан, не обладают эффективными инструментами взаимодействия с избирателями. Вместе с тем, выработка непосредственной политики и принятие решений от имени всего Евросоюза сводится к способности глав правительств государств-членов договориться между собой и с брюссельской «евробюрократией». С другой стороны, связь действует и в обратном направлении: отсутствие механизмов влияния на проводимую Евросоюзом политику, на что к тому же постоянно указывают «евроскептики», порождает у людей недоверие. Судя по данным Евростата, с середины 2000-х годов наблюдается устойчивая тенденция снижения доли граждан, доверяющих ключевым институтам ЕС. Так, с 2004 по 2014 год доля европейцев, выражающих доверие Еврокомиссии, снизилась с 52 до 38 % (в среднем по странам ЕС), Европейскому совету — с 45 до 36 %, а Европарламенту — с 57 до 42 % за тот же период [Level of Citizens' Confidence...].

Евросоюз утратил прежний позитивный и во многом идеализированный образ, и сегодня доминирующая «картинка» ЕС больше напоминает обузу, нелегитимную надстройку, чем воплощение исторического прогресса и политической воли европейских граждан. В этом контексте недавнее заявление главы Европейского совета Дональда Туска об иллюзорности проекта «одной европейской нации» и насущной необходимости убедить европейцев в способности ЕС «поддерживать чувство безопасности и стабильности» [EU Official Tusk... 2016] следует рассматривать как признание глубины накопившихся противоречий и вызванной ими эрозии европейской идеи. На наш взгляд, критическое переосмысление этой идеи, а следовательно и ее институциональное оформление, в будущем должны исходить из нескольких принципов.

Внимание к идентичности, отказ от иллюзий и возврат к гражданской нации

Проведённый анализ привёл нас к нескольким базовым выводам. Первый и важнейший из них звучит так: *нельзя отрицать национальные идентичности и связанные с ними культурные различия*. Национальное самосознание в современном мире играет ту же роль, какую религия и сословия играли в прошлом, являясь *господствующей формой коллективной идентичности людей* [Greenfeld 1992: 20]. История Европейского союза наглядно пока-

зывает, что надежды на «преодоление» национальной идентичности и национального сознания европейцев оказались иллюзорными. Представления о том, что лояльность национальному сообществу отпадёт за ненадобностью в процессе углубления экономической интеграции и, в конечном счёте, будет заменена преданностью универсальным ценностям и абстрактным символам, столкнулись с целым рядом обозначенных препятствий. И это в самых развитых, по всем существующим показателям, демократиях в мире. Что уж говорить об остальных странах, где публичное обращение к «национальной теме» за последние десятилетия не только не ослабело, но и значительно укрепилось [см.: Тишков, Филиппова 2016]?

Попытки отрицать или даже «вытравить» национальное сознание в европейских странах обернулись ростом недовольства со стороны широких слоёв населения. Это недовольство зачастую принимает агрессивные формы антиглобалистской риторики, неприятия европейской интеграции *в любом ее виде* и страха перед «исламской угрозой». С другой стороны, хроническое невнимание европейских элит к вопросу идентичности, который до самого последнего времени рассматривался как третьестепенный, аукнулось в трудный для объединённой Европы момент. Отсутствие европейского гражданского общества, публичного пространства и чётких политических границ оказало услугу всевозможным «евроскептикам», отныне с большей, чем прежде, убедительностью призывающих покончить с «диктатом Брюсселя» и вернуть суверенитет и свободу народам Европы.

Эрозия национального сознания в США имеет свои особенности по сравнению с европейскими странами. В Америке с 1970-х годов стала превалировать тенденция, которую Марк Лилла называет «идентитарным либерализмом» (*identity liberalism*). По словам ученого, этот либерализм проявляется в «чрезмерном внимании к вопросам разнообразия (*the fixation on diversity*)» в американских школах, прессе и политике, породившем «целое поколение самовлюблённых либералов и прогрессистов, невосприимчивых к условиям жизни за пределами своих узких групп (*self-defined groups*)» [Lilla 2016]. Помешательство на публичной экспликации и подчёркивании партикулярных идентичностей привело к забвению единого гражданского сознания и фрагментации американского общества.

Другой важный вывод состоит в *признании иллюзорности и контрпродуктивности как элитарного космополитизма, так и низового национал-популизма*, апеллирующего к средним слоям и рабочему классу. Как часто бывает с противостоящими друг другу крайними позициями, между ними есть немало общего. В сущности, поднявший голову в Европе и Америке национал-популизм является зеркальным отражением космополитизма политических, интеллектуальных, экономических и художественных элит. Если космополитизм выступает за неограниченную глобализацию во всех ее проявлениях, то национал-популизм — за государственный патернализм и жёсткий протекционизм; если один отстаивает «идентитарный либерализм» и самоценность разнообразия в любых его формах, то другой произносит панегирики в адрес консервативных нравов и показательной демонстрации национальной лояльности. В той же мере, в какой элитарный космополитизм не может быть практическим решением, не углубляющим социально-политического раскола западных наций, популизм идентичности не является достойной альтернативой хотя бы в силу своей изначально реакционной природы, не говоря уже о неадекватности большинства предлагаемых им мер.

Раскачивающиеся качели между космополитической утопией «постнационального» мира и не менее утопичным проектом «гомогенной» нации пока только усиливают их антагонизм. При этом ослабляется способность разных групп договариваться между собой и подрывается вера в демократические институты. Постоянно углубляющийся с конца прошлого века национальный раскол формирует, возможно, главный интеллектуальный и политический вызов для современного Запада. Заключается он в том, чтобы не отмахиваться от национал-популистской реакции как от архаики, заранее обречённой на проигрыш моральному и

социальному прогрессу, но рассматривать эту реакцию как эксцентричный и во многом разрушительный протест против иллюзий и заблуждений, свойственных современной западной и мировой политике.

В начале статьи мы указывали на некоторые общие для России и ведущих стран Европы процессы. Они связаны с интеллектуальной и политической дискредитацией идеи гражданской нации, эрозией демократических институтов, а также атаками на либеральные ценности (со стороны радикалов в Европе и политического руководства в России). Но если в российском случае речь идёт об имитации национального единства и демократической системы, то на Западе ситуация, скорее, может быть описана в терминах «пресыщения» и головокращения от успехов национального развития последних двух столетий. Вместе с тем, именно в западных странах появились и некоторые проблески света в конце туннеля: во влиятельных политических кругах Запада стало заметно *критическое переосмысление связи между гражданским национализмом и либеральной демократией*. Так, например, все лидирующие кандидаты во французской президентской гонке 2017 выступали с позиций укрепления национального единства.

В этом отношении избрание Эмманюэля Макрона на пост президента Франции может оказаться весьма важным событием. Во-первых, оно олицетворяет собой стремление активизировать гражданское участие и восстановить доверие к политическим институтам на фоне череды коррупционных скандалов и кризиса традиционных партий. Созданное Макроном движение *La République en Marche* («Вперед, Республика») изначально опиралось на вовлечение в политику представителей гражданского общества, и на парламентских выборах в июне 2017 года оно нанесло сокрушительное поражение как социалистам, так и правым (крайним и умеренным). Во-вторых, феномен «макронизма», в значительной мере, удовлетворяет запрос на утверждение национального согласия на основе приверженности ценностям либеральной демократии. Наконец, в-третьих, это событие является примером либерально-демократической и одновременно национальной альтернативы как изоляционистским тенденциям (Брексит, «трампизм»), так и антинациональному космополитизму. Нанеся поражение лево- и право-популистским проектам (Ж.-Л. Меланшон и М. Ле Пен), победа Макрона имеет все шансы стать одним из ключевых факторов реформирования Евросоюза. Об этом свидетельствуют аккуратные и прагматичные предложения французского президента [Les principales propositions... 2017].

Реалии нынешнего века дают все больше подтверждений того, что гражданское общество не может существовать чисто виртуально, в отсутствие чувства солидарности его членов и их практического участия. Без государства-нации не получается построить либеральную демократию (и демократию вообще), поскольку она «может осуществляться только в пределах чётко определённого политического сообщества» [Taguieff 2015: 201]. Философ Чарльз Тэйлор так сформулировал эту мысль: «Гражданская демократия может работать только в том случае, если большинство ее членов убеждено в том, что их политическое общество — это важное общее дело, и считает свое участие в нем необходимым для сохранения демократии» [Taylor 1996: 120]. Именно поэтому вне развития гражданской нации затруднено, если вообще возможно, развитие демократии: без национальной идентичности, гражданского участия и сопричастности рядовых граждан и элит в достижении национального согласия и процветания демократические институты перестают работать, а ценности свободы и равенства лишаются социальной основы.

Абдулатипов Р., Михайлов В. 2016. *Россия в XXI веке: общенациональный ответ на национальный вопрос*. — М.: Этносоциум.

Агаев В. 2017. Приступы идентичности. — *Коммерсант*. — 06.02.2017. — Доступно: <http://www.kommersant.ru/doc/3205840>. — Проверено: 15.03.2018.

Вишневский А. 2013. *Население России 2010–2011*. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

Герасимов И., Могильнер М. 2007. Что такое «новая имперская история», откуда она взялась и к чему она идёт? — *Логос*. — № 1. — С. 218–238.

Гудков Л. 2010. Время и история в сознании россиян (часть II). — *Вестник общественного мнения*. — № 2. — С. 13–61.

Дьёкофф А., Филиппова Е. 2014. Переосмысление нации в «постнациональную» эпоху. — *Этнографическое обозрение Online*. — № 1. — С. 193–199.

Дробижева Л. 2013. Российская идентичность: факторы интеграции и проблемы развития. — *Социологическая наука и социальная практика*. — № 1. — С. 74–84.

Дугин А. 2012. Империя — это всегда терпимость к меньшинствам. — *Эхо Москвы*. — 26.05.2012. — Доступно: http://echo.msk.ru/blog/kavkaz_politic/892509-echo/. — Проверено: 15.03.2018.

Зайончковская Ж. 2005. Миграционная ситуация современной России. — *Полит.ру*. — 26.01.2005. — Доступно: <http://polit.ru/article/2005/01/26/migration/>. — Проверено: 15.03.2018.

Клаус В., Вейгл И. 2017. *ООО «Переселение народов» — Краткое пособие для понимания современного миграционного кризиса*. — М.: Изд-во Института Гайдара.

Лукьянов Ф. 2017. Нервозный Мюнхен. — *Россия в глобальной политике*. — 20.02.2017. — Доступно: <http://www.globalaffairs.ru/redcol/Nervoznyi-Myunkhen-18600>. — Проверено: 15.03.2018.

Малинова О. 2012. Символическое единство нации? Репрезентация макрополитического сообщества в предвыборной риторике Владимира Путина. — *Pro et Contra*. — № 3. — С. 76–93.

Моррисон А. 2015. «Мы не англичане...». К вопросу об исключительности российского империализма. — *Восток Свыше*. — № 3. — С. 69–78.

Общественное мнение — 2015. Ежегодник. 2016. — М.: Левада-Центр.

Паин Э. 2014. Ксенофобия и национализм в эпоху российского безвременья. — *Pro et Contra*. — № 1–2. — С. 34–53.

Петри Ф. 2016. Нас накроет мощная волна патриотизма. — *Газета Культура*. — 15.12.2016. — Доступно: <http://portal-kultura.ru/articles/person/142945-frauke-petri-nas-nakroet-moshchnaya-volna-patriotizma/>. — Проверено: 15.03.2018.

Проханов А. 2013. Пятая империя. — *Спецназ России*. — 30.06.2013. — Доступно: <http://www.specnaz.ru/articles/201/1/1867.htm>. — Проверено: 15.03.2018.

Тишков В. 2007. Что есть Россия и российский народ. — *Pro et Contra*. — № 3. — С. 21–41.

Тишков В., Филиппова Е. (ред.) 2016. *Культурная сложность современных наций*. — М.: Политическая энциклопедия.

Bossuat G. 2005. Histoire d'une controverse. La référence aux héritages spirituels dans la Constitution européenne. — *Matériaux pour l'histoire de notre temps*. — Vol. 78. — No. 1. — Pp. 68–82.

Boyle N. 2017. The Problem with the English: England Doesn't Want to Be Just Another Member of a Team. — *The New European*. — 17.01.2017. — Access Mode: http://www.thenew-european.co.uk/top-stories/the_problem_with_the_english_england_doesn_t_want_to_be_just_another_member_of_a_team_1_4851882. — Verified: 15.03.2018.

- Boym S. 2001. *The Future of Nostalgia*. — New York: Basic Books.
- Chevalier L. 1958. *Classes laborieuses et classes dangereuses pendant la première moitié du XIXe siècle*. — Paris: Pion.
- Dalton R., Welzel Ch. (eds.) 2014. *The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens*. — New York: Cambridge University Press.
- Della Sala V. 2016. Europe's Odyssey? Political Myth and the European Union. — *Nations and Nationalism*. — Vol. 22. — No. 3. — Pp. 524–541.
- Edelman... 2017. Edelman Trust Barometer Reveals Global Implosion of Trust. — *Edelman*. — 15.01.2017. — Access Mode: <http://www.edelman.com/news/2017-edelman-trust-barometer-reveals-global-implosion/>. — Verified: 15.03.2018.
- Edwards-Levy A. 2016. Half of Americans Want to Take the Country Back to the 1950s // *Huffington Post*. — 25.10.2016. — Access Mode: http://www.huffingtonpost.com/entry/americans-1950s-poll_us_580fcf0be4b08582f88c9575. — Verified: 15.03.2018.
- EU Official Tusk... 2016. EU Official Tusk: Idea of One European Nation Is “Illusion”. — *Daily Mail*. — 05.05.2016. — Access Mode: <http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3575754/EU-official-Tusk-Idea-one-European-nation-illusion.html>. — Verified: 15.03.2018.
- Fukuyama F. 2012. The Challenges for European Identity. — *The Global Journal*. — 11.01.2012. — Access Mode: <http://www.theglobaljournal.net/article/view/469/>. — Verified: 15.03.2018.
- Gaskell S. 2016. For Donald Trump, Making America “Great Again” Means Making It More like the 1950s. — *Mic*. — 16.09.2016. — Access Mode: <https://mic.com/articles/153611/for-donald-trump-making-america-great-again-means-making-it-more-like-the-1950s#.fjcd9sy3u>. — Verified: 15.03.2018.
- Gensburger S., Lavabre M.-C. 2012. D'une “mémoire” européenne à l'européanisation de la “mémoire”. — *Politique européenne*. — No. 2 (37). — Pp. 9–17.
- Greenfeld L. 1992. *Nationalism: Five Roads to Modernity*. — Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Guilluy Ch. 2016. *Le crépuscule de la France d'en haut*. — Paris: Flammarion.
- Gutteridge N. 2016. Stop the EUSSR! Hungary PM Slams Brussels “Sovietisation” in Savage Attack on Federalism. — *Express*. — 24.10.2016. — Access Mode: <http://www.express.co.uk/news/world/724664/European-Union-Viktor-Orban-Sovietisation-Brussels-EU-refugees-migrant-crisis>. — Verified: 15.03.2018.
- Habermas J. 2016. Core Europe to the Rescue: A Conversation with Jürgen Habermas about Brexit and the EU Crisis. — *Social Europe*. — 12.07.2016. — Access Mode: <https://www.social-europe.eu/2016/07/core-europe-to-the-rescue/>. — Verified: 15.03.2018.
- Hosking G. 2016. Why Has Nationalism Revived in Europe? — *Nations and Nationalism*. — Vol. 22. — No. 2. — Pp. 210–221.
- Huntington S. 2004. *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*. — New York: Simon & Schuster.
- Khodarkovsky M. 2011. *Bitter Choices: Loyalty and Betrayal in the Russian Conquest of the North Caucasus*. — Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Lacoste Y. 2014. La nation, ce concept géopolitique fort, n'est pas d'essence populiste. — *L'Express*. — 02.04.2014. — Access Mode: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/yves-lacoste-la-nation-ce-concept-geopolitique-fort-n-est-pas-d-essence-populiste_1504212.html. — Verified: 15.03.2018.
- Laruelle M. 2009. *In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia*. — New York: Palgrave Macmillan.

Lasch Ch. 1995. *The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy*. — New York: W.W. Norton.

Les principales propositions d'Emmanuel Macron pour relancer le projet européen 2017. — *Le Monde*. — 26.09.2017. — Access Mode: http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/09/26/les-principales-propositions-d-emmanuel-macron-pour-relancer-le-projet-europeen_5191799_3214.html. — Verified: 15.03.2018.

Level of Citizens' Confidence in EU Institutions. — *Eurostat*. — Access Mode: <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdgo510&language=en>. — Verified: 15.03.2018.

Lilla M. 2016. The End of Identity Liberalism. — *The New York Times*. — 18.11.2016. — Access Mode: <https://www.nytimes.com/2016/11/20/opinion/sunday/the-end-of-identity-liberalism.html>. — Проверено: 15.03.2018.

Merler S. 2017. Compensating the “Losers” of Globalization. — *Bruegel*. — 09.01.2017. — Access Mode: <http://bruegel.org/2017/01/compensating-the-losers-of-globalisation/>. — Verified: 15.03.2018.

Milano B. 2017. To Understand Trump, Learn from His Voters. — *Harvard Gazette*. — 22.02.2017.

Morin E. 2016. Le temps est venu de changer de civilisation. — *Acteurs de l'économie — La Tribune*. — 11.02.2016. — Access Mode: <http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/grands-entretiens/2016-02-11/edgar-morin-le-temps-est-venu-de-changer-de-civilisation.html>. — Verified: 15.03.2018.

Mudde C. 2016. The Revenge of the Losers of Globalization? Brexit, Trump and Globalization. — *Huffington Post*. — 09.08.2016. — Access Mode: http://www.huffingtonpost.com/cas-mudde/the-revenge-of-the-losers_b_11407468.html. — Verified: 15.03.2018.

Pain E. 2016. The Imperial Syndrome and its Influence on Russian Nationalism. — Pål Kolstø and Helge Blakkisrud (eds.) *The New Russian Nationalism: Imperialism, Ethnicity and Authoritarianism, 2000–15*. — Edinburgh: Edinburgh University Press. — Pp. 46–74.

Petite S. 2016. Ne parlez plus des réfugiés de 1956 à la Hongrie. — *Le Temps*. — 26.10.2016. — Access Mode: <https://www.letemps.ch/monde/2016/10/26/ne-parlez-plus-refugies-1956-hongrie>. — Verified: 15.03.2018.

Sedensky M. 2016. America Divided: The Rebellion of the Angry White Man. — *LGBTQ Nation*. — 20.10.2016. — Access Mode: <http://www.lgbtqnation.com/2016/10/america-divided-rebellion-angry-white-men/>. — Verified: 15.03.2018.

Taguieff P.-A. 2015. *La revanche du nationalisme: Néopopulistes et xénophobes à l'assaut de l'Europe*. — Paris: Presses universitaires de France.

Taylor Ch. 1996. Why Democracy Needs Patriotism. — Joshua Cohen (ed.) *For the Love of Country: Debating the Limits of Patriotism*. — Boston: Beacon. — Pp. 119–121.

Weber E. 1976. *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914*. — Stanford, California: Stanford University Press.

Zakharov N. 2015. *Race and Racism in Russia*. — Houndsmills, New York: Palgrave Macmillan.